

12 октября 1991 г.

Фридрих Горенштейн:

Мог ли Чехов

выйти с портретом царя?

Он уезжал из России, не успев прославиться. Сценарий «Соляриса» для Тарковского, повесть в «Юности», рассказ в «Метрополе» — все. Уехав, не примкнул ни к одному кружку, остался сам по себе. Чтобы читать — нужны читатели. Чтобы славить — друзья. Оказалось, ни того, ни того не густо. Он рвался — книгами — домой. Повести «Куча», «Искушение», «Улица Красных Зорь», роман «Псалом», пьесы «Волемир», «Споры о Достоевском», «Детубийца», «Бердичев». Великая простота, ясность изложения, безупречное чувство языка, бесстрашие, с каким передается трагизм бытия, взгляд на вещи отсюда, из близости, и одновременно оттуда, от Бога, из истории, из космоса, человеческого и всечеловеческого. Весь он в контексте русской и мировой культуры, истовый ее работник. Теперь журналы и книгоиздательства его печатают, театры ставят. Он прилетел на премьеру спектакля «Государь ты наш, батюшка...» (по «Детубийце») в театре Вахтангова (в постановке Петра Фоменко).

Звонок по телефону:
— Я приехал...
— Видите, я вам говорила! Прошло время, вас начали и печатать, и читать.
— Да, прошло... и ушло...
— Как вы нашли Москву?
— Понравилась.
— Грязная?
— Зато живая. Я уезжал одиннадцать лет назад, она была мрачная.
Дальше — свидание на углу Поварской и Садового кольца. И — беседа.

— Что вы думаете о положении русской культуры в мире?
— Я не думаю, что это сейчас основной вопрос. По-моему, важнее положение русской культуры в русской культуре. Идет общий процесс. Такой же, как в экономике, везде. Положительный процесс разрушения. Сталинский лед сменился, в общем, фальшивой оттепелью...

— Фальшивая оттепель?
— Да. Направленная против сталинизма, против 30-х годов, она и порвала связь с 30-ми годами, когда была еще возможна плодотворность — вопреки сталинизму. И пошла эта комсомольская хемингуэвщина, пошел этот физиологический очерк с лагерным примитивным уклоном... Это привело к потере возможности перевоплощения.

— Вы называете прогрессивную литературу, оставшуюся за гранью сугубый социализм...
— Он в это время уже и остался за гранью. В 30-х годах было стыдно писать плохо. Пастернак, Булгаков, к которому у меня свое отношение, тот же Олеша — они все равно держали уровень. А когда Твардовский превратился в святого Петра, который открывал и закрывал двери в литературу, кого впустить, а кого нет, тогда и пошел этот отбор, который ни к чему хорошему не привел. И дал-то эти двери тот же ЦК, не надо обманываться, мол, сами стену проломили.

— И тем не менее это был взаимный процесс, уж больно сильно толкались в стену.
— Пусть и взаимный, но вы дышали фальшивым воздухом.
— А вы?
— Потому меня и не печатали. Я был не как все. Отщепенец.

— А на Западе?
— Я тут был чужой и там остался. Фальшивый воздух никуда не делся. В том смысле, что эмиграция увезла его с

собой. Там была создана своя номенклатура, свои ряды. Я думаю, что мне перестройка дала очень многое. Тем людям, что были взяты на паек Запада, она дала гораздо меньше. По сути, ничего.

— А вам что?
— Россия открыла меня. И дело не только в публикациях. Дело в престиже. Мне вообще было очень тяжело. Книжки у меня не выходили. Первая страна, открывшая мои книги, — Франция, я считаю ее второй литературной родиной. Санкт-петербургская «Смена» напечатала интервью со мной и назвала «Вне процесса». Я — вне процесса. А писатели, которых вы называете прогрессивными, они дилетанты. Может быть, хорошие, искренние, но дилетанты. Было потеряно мастерство. Это шло по всем направлениям. Колбасу не умеют делать. Такая золотая колбаса была в России! Не умеют делать колбасу, туфли, не умеют рисовать картины, писать повести. Талантливые люди есть. Не может быть, чтоб их не было. Потеряно ремесло. Традиции потеряны. Потому что между традицией и новаторством все и происходит. Я написал большой киноман о Шагале. Но ведь Шагал считал себя учеником Рембрандта. «Рембрандт меня любит», — повторял он. Модерн может существовать только как вариации классики. А когда потеряна классика, тогда вариации превращаются в какофонию.

— Тогда кем вы себя ощущаете, наследником кого? От кого к вам идет традиция?

— Тут не прямой процесс. Конечно, от классики. Через классику — к западной литературе настоящей. И другой путь не «от», а «к»: к Библии как основе. Если мы читаем Толстого, то через него идем к Стендалю. Достоевский начинал, оказывается, как переводчик, переводил с французского «Евгению Гранде». Если мы читаем Толстого, Достоевского, Пушкина, значит, мы читаем и европейскую литературу, откуда они черпали.

Возражая, защищая «отеческий воздух», называла имена и книги, он вяло отнекивался, что, дескать, все успеть прочесть нельзя, но я уже поняла его, как мне кажется. Это бурное отторжение от чего-то необходимо было ему в свое время, чтобы утвердиться на своем, отличном, отдельном, за чем последовало одиночество и — иной уровень сравнения. Навсегда живой осталась классика, интерес к тем, кто рядом, поблек. Что же каждый имеет право на свой путь и свои ориентиры.

— Я читаю много, очень много. Но то, что мне необходимо как материалы по работе. Сейчас я пишу об Иване Грозном, и я специалист по Грозному. Когда я писал «Псалом», я был специалист по Библии. Умение читать — важная вещь. Элемент культуры. Именно умение себя ограничивать и выбирать. Человек ведь может прочитать ограниченное количество книг всерьез.

— Как вы отнеслись к тому, что происходило здесь в августовские дни?

— Как все! Я не знаю, что стояло за этим переворотом, но у меня, неинформированного человека, было одно чувство: просто Бог помог, огромная удача, что все так кончилось. Конечно, это могло отбросить страну, да и мир, далеко назад. И потом — «скажи мне, кто твой друг». Сразу Хусейн, арабские палестинцы, Кастро — вот кто их поддер-

жал. Учитывая бесхарактерность, трусливость западной демократии, это могло превратиться в опасный узел...

— В «Дневниках» Зинаиды Гиппиус 1914—1919 годов содержится такая же характеристика Запада.

— Это свойство каждого джентльмена: не хочется вмешиваться. Действительно, как вмешаться? Любимый хулиган, преступник всегда готов к поножовщине, к пролитию крови, а я иду и не хочу, чтоб меня трогали. Есть в этом какая-то психологическая правда. Но в этом и объяснение: сила любой преступной фигуры — в трусости обывателя. Три августовских дня показали, что они не так сильны, хотя поначалу было такое впечатление, будто значительная масса народа поддерживает их. Тут один из самых больших уроков. 1917 год произошел потому, что некому было дать отпор, было аморальное поведение лидеров других партий. Выбора не было. Эти нынешние танцы вокруг фигуры Николая Второго просто чудовищны. Нельзя оправдать жестокость по отношению к нему и к его семье, но делать из него святого, как это сделала церковь! Это не безвинная жертва, он во многом несет ответственность за то, что произошло. Группироваться вокруг его портретов! Я уж не говорю о Чехове: мог ли идти Чехов под портретом царя? Даже так называемый реакционер Достоевский никогда бы не пошел! Под портретом царя ходили черносотенцы. Попытки выдвинуть в противовес лидерам прошлого лидеров позапрошлого — опасный процесс, который обманывает, особенно молодых.

— Чем это объясняется, по вашему мнению, — обращение не вперед, а назад?

— Не хотят расставаться со старым. Хотя просто переодеться. Вчера Чапаев, сегодня поручик Голицын, а основа мышления все та же, тот же шовинизм, который Россию завел в болото и замучил. Это легче и проще. Переодеться — не значит измениться. К сожалению, большой вклад в это вносит Солженицын с его толкованием истории. В конце концов надо читать документы. Мне задал в голову рассказ одного из солдат, который добрался в Крым, к Врангелю, из голодной России. И вот он говорит: сыто, хорошо живут, но хамское отношение офицера к солдатам, крестьянам, унижающее их, все перечеркивало. Большевикам многое прощали за человеческое отношение. Я бы повесил на «Белом доме» высказывание Бердяева: для того чтобы понять ложь большевизма, нужно понять его правду. Это должно стать основой переосмысления истории. Это ключ к пониманию. И я был печатал свидетельства очевидцев. Они дадут больше пищи уму, нежели толкования современных пророков. В частности, конечно же, достижение революции — отделение церкви от государства. Это должно быть сохранено. Во имя не только государства, но и церкви. Большая беда для церкви ее вовлеченность в политику. Она во многом создала ту империю, от которой мы стремимся избавиться. И сейчас — не заменять одну идеологию другой...

— А мы сможем прожить без идеологии?

— Трудный вопрос. Идеология — в любом случае плохо. Она мертвит и требует жертв себе. Во всех случаях надо говорить не о 73 годах, а о 450. Занимаясь Иваном Гроз-

ным, я особенно отчетливо вижу истоки. Моя вещь будет называться «На Крестцах». Старорусское слово «крестцы» — перекресток. Перекресток истории. В Китай-городе были «крестцы». И еще — на кресте. Структуры создавались 450 лет, при чем тут коммунизм и социализм? Маркс лично мне неприятен, но к марксизму революция 1917 года не имеет никакого отношения. Это антимарксистская революция. Империя диктовала организацию политической власти, как бы она ни называлась. Самый положительный результат из всего, что случилось, — что империя подошла к своему концу. Россия станет другой. И Украина станет другой.

— Какой другой? Войдут ли они в европейскую цивилизацию?

— Должны войти. Одновременно вернувшись к своим корням, к своей национальной жизни. Меня один шовинист упрекал за то, что я говорю о национализме как положительном явлении...

— Есть национальное и националистическое.

— Пусть даже националистическое, только не шовинистическое. Потому что шовинизм — это романтизм, а национализм — это реализм. На этот счет хорошо объяснил саратовский губернатор. Когда черносотенцы стали обливать его грязью за то, что он составил отчет, а там нигде не показано разлагающее влияние евреев, он ответил: я русский националист, если бы я действительно нашел, что евреи угрожают развитию России, я был бы первый антисемит, но это не так, я определил другие факторы и знаю, что антисемитизм либо приносит пользу, либо приносит вред. Так что между национализмом и шовинизмом разница громадная. Они романтики, они выдумывают сказки и ловко используют их для своих целей. Национализм сам по себе плох. Но бывает, что другого выхода нет в истории. Всех подряд называть фашистами тоже не годится. В Германии один поэт недавно сказал: почему Гитлер пришел к власти, потому что всех называли фашистами — этот волк, тот волк, а когда пришел настоящий волк...

— Уже образовалась привычка...

— Есть реакционные элементы. Это плохо. Но это не фашисты, не нацисты. В определенные моменты, когда нет другого пути, они ведут за собой обывателя и заслоняют дорогу фашизму, то есть романтическому шовинизму.

— Непривычная точка зрения. Стало быть, и писатели, исповедующие национализм, не так уж дурны...

— Как сказать. Факт, что среди этих людей нельзя найти Вагнеров и Достоевских. Проба на талант очень средняя, а проба на шовинизм все же очень высокая. Другое дело, что и среди прогрессивных проба на талант может быть не выше.

— Толстой был для России ее совестью. Роль писателя у нас всегда была высока. Сейчас она скромная? Или должна вырасти такая фигура, к которой будут прислушиваться?

— Конечно, важно, чтобы была такая фигура. Но лучше не иметь совести, чем иметь фальшивую совесть. Я это наблюдаю. Ведь Толстой вырос в совесть, очень сильно преодолел себя. Я сейчас тоже наговариваю, может, не все правильно. Но я вспоминаю записи, по памяти: обедал у Дру-

жинина, начал высказываться, в результате Гурженев встал и ушел... после этого оскорбил личные взгляды Некрасова и Чернышевского... зачем я это сделал? Это Лев Толстой. Он постоянно всех ругал, был крепостник, не был богат, писал ради денег и записывал: моя цель — слава. Лев Толстой боролся сам с собой, а не с кем-то. И не создавал из себя кумира. Такого качества людей сейчас нету. Ищут и находят фальшивых идолов. Это самое опасное. Плохо, когда нет ориентиров, не лучше это, чем фальшивые ориентиры. Не создавать взамен одних паразитов других. А главное — на бумаге быть правым. Заниматься — я так думаю — своим делом, писанием, работой по расчистке духовных развалин. За долгое время впервые, но у меня появилась надежда. Я приехал, пошел к «Белому дому», ходил, смотрел...

— Странная вещь произошла в августе, был сумрак в душе, все было ужасно — и вдруг появилась душевная сила.

— В этом вся суть. В том, чтоб была душевная сила. А уж после можно расслабиться и превратиться в обывателя, как на Западе...

— Основа русской психики, на ваш взгляд, какова?

— Русские сильно изменились после гатари-монгольского нашествия. Если говорить о монголоидном типе русского, то это прежде всего — неуважение к труду и затем — опора на массу.

— А что этому противопоставит?

— Преодоление неуважения к труду и опоры на массу. Главное — вырваться из массы. Опереться на меньшинство. Выделить себя как индивидуальность. Не стараться идти в толпу, в ряд. Достоевский этого тоже не понимал. Это монголоидность, москвитство. У Новгорода этого не было. Новгороду не надо было учиться у Запада, он сам самостоятельным был, и люди были такими. Новгород работал, имел, был индивидуалист, собственник. Важное качество — уважение к себе. При этом надо понимать, что высокими моральными качествами собственник не обладает.

— И все же собственность дает независимость. Собственная земля, собственный товар, собственный талант.

— Русское государство никогда не умело поддерживать собственника, начиная с Ивана Грозного, и даже раньше. Убрать независимых людей и опереться на холоуев — это в привычке, это легче. И легче — всем вместе бревном таскать. Кто-то ослабит усилия, а какой-то дурак тащит. Время — всякому тащить свое. Я не за капитализм, но нельзя возвращаться к феодализму, останавливать историю. Русские всегда пытались остановить историю, удержать старое.

— Вы не собираетесь возвращаться?

— Ну как возвращаться... Вот они получают здесь квартиры, паспорта... они вернутся? Зачем мне играть в такие игры. Но дело не в этом. Я ведь нахожусь не в эмиграции. Я нахожусь в Германии. Германия — это страна, которая меня интересует так же, как Россия. Если мне удастся, я хотел бы написать несколько книг о Германии. Это очень важно. Это тема, которая по-прежнему связана с Россией, с судьбой России и с моей личной судьбой.

Ольга КУЧКИНА,
обозреватель
«Комсомольской правды».